

# 1

**Н**а сцене моя мать раскрывала свою истинную сущность. Я видела, как в считанные мгновения она преобразается, как между ней и зрительным залом постепенно возникает близость. Посреди представления она снимала рубашку — по-мужски непринужденно, как можно было бы снять носки. Потом приподнимала обеими руками тяжелую гриву рыжих кудрей, обнажая длинную шею и расставляя локти, чтобы подчеркнуть линию плеч. Она могла перевоплотиться в кого угодно. К зрителям своих моноспектаклей она обращалась как к старому другу. Я видела, какое воздействие она оказывает на них: они подавались вперед, широко раскрыв глаза, впивая ее всей кожей. Эту фамильярность, дающуюся ей без усилий, она переносила и в обычную жизнь. С незнакомыми людьми она была жизнерадостна и мила. Она ослепляла. Иными словами, моя мать была настоящей актрисой.

В театр она пришла еще подростком, но главную роль, после которой ее карьера пошла в гору, получила только в девяностые, когда мне едва-едва исполнилось

пять. Потом начались спектакли-монологи. Постановка, сделавшая ее знаменитой, называлась “Мать” — короткая, энергичная пьеса, длившаяся час двадцать без перерыва. Действующих лиц в ней было мало: муж, жена — ее она как раз и играла, — трое их маленьких детей и отец мужа. Завершался спектакль долгой сценой, в которой мать топит детей в ванне. Ничто в образе матери как будто не предвещало такого финала, хотя вся пьеса была проникнута смутной тревогой, перемежаемой всплесками легкомысленного веселья и нежности. В детстве никто мне не говорил, что моя мать играет женщину, убивающую собственных детей, но я знала, что она и за пределами сцены часто не выходит из роли.

Дома она была для меня чужой. Мне хотелось, чтобы она превратилась в ту, кем была изначально, как будто она могла снова стать собой. Она была возвращена наизнанку, внутренней стороной напоказ. Но я предпочитала видеть ее лицевую сторону, видеть в ней мать в традиционном понимании.

Я хотела гордиться матерью, но чаще всего она меня раздражала. То, чем восхищались в ней остальные, мне казалось преувеличенным и наигранным.

— Так она же играет, — сказала Матильда, когда я ей пожаловалась.

— Но я хочу, чтобы меня трогала ее игра. Я хочу аплодировать стоя вместе со всеми.

— А какого подростка может растрогать собственная мать?

— Хорошего.

— Нам нравится, что ты не хорошая, — сказал Тео.

Тео и Матильда были ее ближайшими друзьями. Матильда, известный дизайнер, работала в театре и специализировалась на вышивке. Она подгоняла мою одежду по фигуре и шила мне платья на выход. Это она придумала костюмы для “Матери”. Тео, ее муж, был танцовщиком. Моя мать в молодости тоже занималась танцами, и поэтому они мгновенно нашли общий язык.

Со мной мать вполне продуманно держала дистанцию. Помню, как я стучалась в закрытую дверь ее комнаты. “*Maman*”, — звала я, думая, что она не слышит стука. В какой-то момент я перешла на Анук — в надежде, что на имя она будет отзываться охотнее. Со временем произносить “*Maman*” становилось все трудней, мягкость согласных входила в противоречие с отчужденностью, которую я так часто испытывала в ее обществе. Слово “Анук”, напротив, заканчивалось резким, угловатым звуком, и, выкрикивая это имя, я как будто сталкивала ее со скалы.

Ее комната была меньше моей, а в щель между хлипкой деревянной дверью и полом можно было просунуть пальцы ноги. Помню, как из-за двери раздавался ее голос, снова и снова повторявший одну и ту же реплику. “*Надо было вызволить тебя из этого мрачного места и осыпать поцелуями*”. Я ждала, когда она мне откроет.

Когда мы оставались вдвоем, она окидывала меня серьезным взглядом. “Нужно перерезать пуповину, — говорила она. — Ничто так не мешает, как чрезмерная привязанность”. Тогда разница между нами казалась огромной, как будто мы с ней были из разных стран и говорили каждая на своем языке. “Мать

не подружка”, — постоянно повторяла она, словно пытаясь оправдать все усиливавшуюся несхожесть наших взглядов. И это была правда. Мы никогда не перешептывались в метро и не держались за руки на улице. Люди, не знавшие нас близко, считали, что мы с ней похожи и что я когда-нибудь тоже стану актрисой. Они думали, что дети наследуют такие профессии от родителей, по аналогии с молодыми писателями, которые опираются на творчество предшественников. Но мне было далеко до ее изящества, мой голос не был таким музыкальным и чарующим, и мужчины на улице не провожали меня взглядами. Она и сама не горела желанием превращать меня в свою копию. Она не научила меня ни танцам, ни актерскому мастерству. Она тщательно ухаживала за кожей и зубами, но никогда не следила за тем, чищу ли зубы я. Когда ее не было дома, я открывала шкаф и перебирала ее платья, поглаживая мягкие шелковые ткани, так непохожие на синтетику, которую носила я сама. Больше всего меня возмущало, что из нас двоих именно мне надо было соблюдать осторожность и следить за тем, что я говорю. Со временем я научилась принимать отсутствующий вид, который все ошибочно объясняли то застенчивостью, то безразличием.

И все-таки, даже когда она вызывала у меня неприязнь, я все равно самозабвенно ее любила. Каждое утро я просыпалась под скрип деревянного пола в ее комнате, потом в чайник с шумом лилась вода из крана. Я знала, что ради меня мать идет на жертвы. Я знала, что необходимость растить дочь мешала ее самореализации. Иногда в ее величавой, рослой фи-

гуре проглядывала прежняя, юная она. В ней проявлялось что-то уязвимое, и я думала: а вдруг мы бы стали друзьями, будь мы одного возраста?

Я думала об этом, потому что мы были очень близки — как соседки по квартире. “Мы живем одни”, — говорила она притворно ласковым тоном, в котором привычно сквозило что-то жалобное. Она называла себя матерью-одиночкой, как будто вырастила меня сама, но это было не совсем так: отец у меня был, и он нас навещал.

Ее друзья, в основном коллеги-актеры, приходили к нам в гости и оставались на ночь. От их одежды несло застарелым сигаретным дымом. Они громко делились мнениями и предложениями по вопросам моего воспитания. От одного из друзей, уехавшего за границу, нам досталась кошка с длинным туловищем и густой рыжей шерстью, которая прожила у нас два года. Кошка у нас не прижилась, в руки не давалась и приходила ко мне, только когда я плакала, — терлась о мои ноги, чувствуя, что я расстроена. Прошло два года, и как-то летом она сбежала через открытое окно кухни, да так и не вернулась.

К тому времени, как я перешла в старшие классы, мы уже сменили три квартиры, из которых каждая последующая была меньше предыдущей. Перебираясь все ближе к центру Парижа, мы наконец поселились на Левом берегу. Друзья Анук не понимали, зачем жить в дорогом районе в нескольких шагах от Люксембургского сада. Они недоумевали, как ей хватило денег на такую квартиру. Они винили во всем ее буржуазных родителей. “Тебя тянет к корням”, — поддразнивали ее друзья. Но я знала, что дело не